

Маргарита СОСНИЦКАЯ

Московская область

то ты, Серый? Заходи. Давно тебя не было. Как нога? Хромаешь?

А-а, то-то, мог бы даже и не хромать. Помнишь, я тебя, такого махонького волчонка, — в двух горстях помещался — с лапой перебитой домой принес?

А-а, то-то, все помнишь... Охотники-звери мать кормящую, волчицу, застрелили. А что у тебя шерсть по верхам рыжей стала? Зверь ты, зверь, тварь безответная. Что так смотришь? Ответа ждешь? Только что я тебе отвечу? Ты сам знаешь...

Иди, иди ближе...

Я ведь не любил Наталку вовсе. Просто приманивало меня ее сходство с коровой. Вроде бы ничего похожего, однако в общем, в выражении рук, в стойке, что-то такое же теплое, беззащитное...

Я очень любил коров. Вообще скотину: лошадей, свинок... Но коров особенно. Из-за этого пошел в сельхозинститут. Никак не мог дождаться конца науки, когда с живыми коровами обретаться буду. «Теория суха, но зеленеет жизни древо...» Да-а, приехал я зоотехником в село Куракино. На меня ходили смотреть, как в кино. Видали, мол, дурня, все в город бегут, а этот — к нам. А у них лес, боже ты мой, сказочный! Дом кирпичный мне сразу дали в три комнаты (а сколько в городе в общежитии маяться бы!). И до фермы три минуты пешком. Даже запах свежего коровьего навоза там хорош, что-то здоровое в нем, исконное, теплое.

А глаза у коров или даже свиней! Вот как у тебя, Серый. Целая душа в них, переливчатая, с характером. Только ты, волчина, дикий и хищник, их же мясом живешь, а они травкой и желудями. Не дураки в Индии, корова у них — священное животное. По мне, есть ее мясо все равно что человечину, а зарезать теленка все

равно что пятилетнего мальчишку. Я мяса не ем по убеждению. Наталка не ела его вообще — бабка не приучила.

Жили они, бабка с Наталкой, в крайней скромности. Хатенка в землю по пояс ушла, трава заслоняла крохотные оконца.

В бабке все давно отыграло. Вид она имела ходячей покойницы. Высушенная, коричневая, молчащая, временами зловещая-вещая. Пенсионный возраст ей вышел еще до Советов, и потому в колхозе она никогда не работала. Наталкина мать, говорят, пропадала в городе и про дочку вспоминала под Новый год, присылая посылки с мохеровыми кофтами и гостинцами.

По хозяйству почти все делала бабка. Ее огромный огород до мелкого клочка был засеян и возделан, даже лен она растила, трепала, мыла, ткала, отбеливала, шила из него себе и Наталке одежды. Оттого и ходила Наталка в платьях, каких ни у кого, — длинных, простых по-рубашечному, подвязанных пояском. Она частенько бралась помогать бабке.

Не надо тебе, – останавливала та. – Сама справлюсь. Красуйся, пока молодая...

И Наталка плела венки, нанизывала бусы из рябины, которые так шли к ее черным, блестяшим глазам.

В школу она уже отходила. Кончала восьмой класс. Из села уезжать не хотела, а что делать — еще не поняла.

Говорили (и то слухи, как духи; очевидцы все перевымерли), что бабка («И не бабка она мне вовсе, – как-то призналась Наталка, – прабабка, а то и еще давнее...») в молодости ворожила, врачевала и во всяком зелье толк знала. Сама помещица, графиня Бело-Куракина, к ней захаживала... Да, случилось, опоила ворожка парня молодого на его свадьбе... Сердце он ей вызнобил, а венчался с другой... Он был сыном богатых отца с матерью. Те шуму не поднимали, пришли с дядьями под вечер к ворожке и поволокли в проруби топить. Босую, в одной сорочке... Проломили полынью и туда старуху – молодую в ту пору. И что же? Лед тает, точно воск, а старуха на воде качается, как пустая бутылка. Лед из-под ног уходит, едва на берег успели отбежать, кольями ее оттуда пыряют, а она всплывает.

Зимой темнеет, как звезда падает, — быстро. На реке ничего видать не стало, пришлось им с кольями да с проклятьями уйти. А ворожка прибилась к берегу — и домой.

Два раза за одну вину не казнят. Смерть не взяла — вины нет. Оставили ее в покое. Но с тех пор ворожить и знахарничать она перестала: огонь-сила из нее вышла, когда лед таял. Вскоре родила она младенца и жила тихо...

Что завыл, зверь Серый? Не веришь, что тихо? Вот и я не верю...

Наталка раз выболтала, что купала бабку в соках их трав и что бабка ее совсем молодая... Я один раз — не думаю, чтоб померещилось — видел их на соломенной стрехе, они звезды с неба снимали и прятали бабке за пазуху. Не думаю, чтоб померещилось.

А Наталку я не любил.

Она была для меня само собой разумеется, как я сам. Нельзя же любить свои ноги или руки...

Наталка была маленькая, крепко сбитая, нос сапожком, ротик — бутончиком, румянец — словно вишни кто на щеке давил, и коса, в жизни не стриженная, часто расплетенная, как чесаный лен, только черный. Одно меня удивляло: бывает же столько родинок на человеке, словно кто корзину лесных орехов рассыпал...

Разумеется, я имел на Наталку виды. Не от любви, нет: просто не годится, чтоб твоя половина на стороне обреталась.

Поэтому я к ним заходил, носил то сыр, то сметану, то молоко, ставил на лавку под хатой, чтоб ни старуха, ни девчонка не замечали. А к следующему разу на лавке ничего не было.

И в тот вечер я исправно тащил свежего творога. Смотрю, на лавке под хатой они вдвоем – бабка с Наталкой – сидят, говорят что-то.

Иди, – позвала меня старуха.

Я подошел и сел рядом с Наталкой. Мне оказалась видна ее шея и полоска груди в выемке платья. Это все было живое и сочное, как коровье вымя, только в родинках. Еле сдержался, чтоб не погладить. Руки сжал, да бабка, однако, взглядом перехватила:

– Крапива ожжет. Крапива трава-огонь, кто

ее соки пил, огниво проглотил. Огни палите на холмах, на полянах, на берегах, на кручах, по воде — по реке пускайте. Эх, эх, Наталка, забыли люди-человеки, что нынче день и ночь — близнецы, одного сроку-возрасту. Сила сама в живот идет, знай принимай. А кто травы чует, тот и мертвых врачует. Чуешь, чуешь, — бабка с лавки прямо на землю на коленки бухнулась, ухом к земле припала, — чуешь, булькает, колобродит сок земли, в корни травы входит. А кто росой умоется — от хвори-напасти, сглазу-проказу навек укроется.

 Да согни спину, не каменная, приложись ухом, — велела она.

И Наталка по-бабкиному встала на четвереньки, ухом к земле. Старуха метнула на меня взгляд, и я тоже сполз по-Наталкиному.

Чуете?

И вправду в земле что-то охало, вздыхало, клокотало, чавкало.

- То-то, выкрикнула старуха, легко вскочила на ноги, повела нас за собой по дорожке через огород, вывела к овражку.
 - Глядите, показала рукой.

Горизонт открывался без края. На небе алой громадной розой цвело солнце и до пурпурночерного густело к сердцевине. Лепесток сполз на землю. Темнело.

Я посмотрел на старуху: она была молодою. В глазах ее носились красные искры.

— Ну, пора в лес. Луна уже косу расплетает, в ручьях идет полоскать, купальничать... Наталка, откупаешься — сорочку чистую надень, — она расстегнула две пуговки на кофте и вытащила белую материю, сложенную как носовой платочек. Еще нагнулась, что-то шепнула Наталке на ухо.

И уже с гиком вприпрыжку мы неслись по холмам к лесу.

- Не забудь, летит за нами сильный голос старухи, папоротник цветет там, где закрыт кла-ад!
 - A-ад! отвечает в холмах.

Иногда я не чувствую, чтобы нога моя касалась земли.

По пути нам попадаются девчата и парни из села, что гуляли с транзистором и возвращались домой.

- Зоотехник, кричали они, зоотехничек со своей телухой пасется! Га-га-га!
 - Aга-а! неслось по холмам.

Они окружили нас кольцом.

- Ну, поцелуйтеся, а мы поглядим, и теснят, сужают кольцо.
- A-a-a! как заорет Наталка, как толканет здоровую деваху и бежать, я за ней.

Наталка кричит им на бегу:

- Глаза ваши бесстыжие! Хоть бы своих посрамились!
 - Осрамились! откликается в холмах.

А вот и лес. Тяжела сегодня в лесу свежесть, как слива, лопнувшая от спелости и еле висящая на ветке. Пряность лесная, сладко-ядовитая, грудь перехватывает.

Отвернулся я, слышу, Наталка в ручье плещется. Орет низким голосом: «Вода холоднющая до чего ж... А-а!.. Смерть — и та, наверно, теплее!»

Смотрю — она уже в новой сорочке, и расшитой как-то весьма хитро.

 Теперь ты обмойся, — посылает меня Наталка.

А я, помню, подумал: «Зачем это? Пережитки сплошные». Но Наталки не ослушался.

И что же? Так легко мне стало после купания, так хорошо, я почувствовал, что мышцы мои как из бронзы вылиты... Э-эх!

— Это ж Иван Купала. Кто найдет его цвет, тот счастье свое найдет. Поищем... — зовет Наталка и бежит по лесу. Я тоже бегу и дивлюсь: почему ж не лечу? Сила во мне какая играет — одним прыжком до неба бы допрыгнул.

А на небе луна расхозяйничалась. Залила его светом, а свет двойной, один виден, бледно-золотой, другой насквозь чем-то светится. Только чем — не пойму. И щекотно от этого света так, что визжать хочется попоросячьему.

Догнал я Наталку. Она вся огнем играет. Обнял я ее крепко, прижал что сил было и пошел целовать, целовать. Такая она была, что очень хотелось ее целовать — зацеловать, а сколько ни целуй — все мало! И под руками играет, как гладкий бок породистой коровы.

Вдруг горячая-прегорячая, почти кипящая, она стынет, холод от нее, чую, идет такой, будто прикладывают меня к железу в мороз.

Она отошла от меня, замерла, и лунный желтый луч дотронулся до ее темени.

Она наливалась лунным светом, как прозрачный сосуд водой, только не солнца, а сверху. Стали светиться чело, лик, шея, грудь, живот, бедра, устье, колени, ступни и даже немного земли под ними. Она стояла матовая и прозрачная, освещенная изнутри, и я видел, как по ее венам и сотням веточек сосудов медленно движется побледневшая кровь. Наталка задрожала, стала задыхаться, хватать ртом воздух, стонать, метаться, но с места не сходила. Грудь ее, без того спелая, высокая, стала набухать, подыматься. Я побежал к ней, схватил за талию, до чего ж тонкую, но она закричала, вроде я чайник с кипятком на нее уронил, и сильно толкнула меня.

Внезапно поднялся сильный ветер. Лес завыл, застонал, засвистел, накренился. Сорочка столетняя, бабкина, расшитая, что писанка размалеванная, стала рваться на груди и сама левая грудь разрываться. Наталка упала без чувств. Я склонился над ней, и волосы дрогнули на голове моей. Из груди рос цветок, красный, аж глаза печет, красный, как раскаленное железо, бросившее красный отсвет на неподвижное лицо Наталки. Я потянул к цветку руку и чуть не обжег. «А не вырву ли я с цветком Наталкино сердце? - подумалось мне. -Тогда она полюбит меня или умрет». «Папоротник цветет там, где зарыт кла-ад!» — послышался мне крик старухи. – Клад? Наталкино сердце – клад? Ее любовь? Жизнь? Душа?

Я снова потянулся за цветком. Но тут Наталка открыла глаза, засмеялась без звука, одним ртом, вскинулась — сидит. Цветок подошел ей под самое лицо, и алые искры носились в ее огромных, широко раскрытых, даже чуть выпученных черных глазах.

Она подхватилась и прыгнула в сторону. Я — за ней. Меня ветром перехватывает. «Наталка», — шепчу, хватаю за талию, узкую ее, и руки мои сходятся, а щека опалилась цветком...

Наталка уже из-за дуба мне машет, я - к ней, она уже на ветке качается, я - карабкаться; сучья обламываются, царапают, ветер по лицу хлещет, а ей что? — светится меж кустов...

Бежал я за ней по лесу дремучему, сквозь чащобу продирался непролазную, по болотным

кочкам скакал, и все она, как старичок-лесовичок; то исчезнет она, то появится, разве что не в воздухе, поманит и снова нет.

Наталка-а! – кричу я.

Она хохочет одним ртом и рукой машет — приглашает. Наконец ухватил было ее сзади за талию (где ж она, талия?), Наталка как повернет резко, и цветок огненный мне по глазам. Вспыхнул лес, Наталка, ветер заглох... и потемнело.

Очнулся — солнце сияет, птицы кричат — день белый. Ничего не понимаю... Только когда увидел ожоги на руках, вспомнил.

- Наталка!.. закричал я.
- ...А-а-а-а... отозвалось эхо.

И я заплакал.

Долго ли плакал, не знаю. А как пришел в село, меня спрашивают:

- Гле бабка?
- Не знаю, говорю.

Исчезла без следа в этот вечер старая.

– Где Наталка?

Я и расскажи всю правду. Никто не поверил. Один ты, Серый, веришь мне. Потому как видал ее. Зря ли у тебя шерсть по верхам опалена?

Отдали меня под суд. А за что судить — непонятно. Ни улик, ни доказательств. Разве только что девчата и парни нас в тот вечер вместе видели. И словам моим не верят. Видано ли, чтоб цветок из сердца рос? Отправили меня в сумасшедший дом. Сколько пробыл там — не подсчитывал. Да ведь и за что держать? Зла я не делаю, не буяню, разве что на Ивана Купалу «Наталка!» кричу, и все она мне с цветком в груди мерещится.

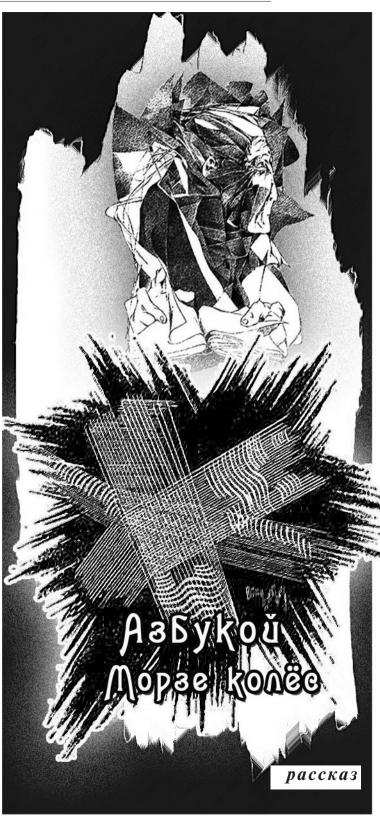
В общем, отпустили меня. Вернулся я в Куракино, устроился лесником и живу... Сколько, не знаю. Время учету не подлежит.

На каждого Купалу показывается мне Наталка, и ношусь я за ней по лесу, по чащам, по болотам, пока не упаду без сил, как тогда...

А борода и голова белые оттого, что выгорели от жара красного цветка из сердца Наталки.

Слышь, Серый?

Или ты уже спишь?



огда профессор с вечным студентом вошли в купе вагона, верхняя полка справа от окна уже была занята. Гора с очертаниями человеческого тела под белой простыней вздымалась вслед дыханию.

Место студента было на верхней полке напротив, он туда и забросил свой рюкзак, а профессор занял полку под ним. Платформа, фонари, люди за окном купе поплыли в обратную сторону — поезд тронулся. Студент отодвинул к окну стаканы в узорных подстаканниках, оставленные для чаепития; в окне с бегущими фонарями промелькнуло отражение его бледного лица:

- Ну, мы, кажется, тут одни. Верхний приказал долго спать, — и закрыл дверь купе с зеркалом, отразившим его востренькую физиономию, окученную пышной пепельной шевелюрой.
- Это как долго спать? удивился профессор. Приказал долго жить умер, а долго спать? Приговорил к бессоннице?
- Ну, так, пожалуй, согласился студент. Если долго жить умереть, то долго спать мучиться бессонницей.
- Иными словами, бодрствовать! Без разницы. Главное, обсудим проект. Название заинтриговало издателя, можно сказать, в восторг привело. А название — это точка опоры Архимеда и начало дела, а начало дела — это уже полдела.

Студент постно потупил глаза:

– М-да... Записки самоубийцы, – и разложил на столике кипу бумаг, извлеченную из рюкзака.

Верхний тяжело дохнул и перевернулся под простыней, судя по ее новым очертаниям, лицом к стенке.

- Спит сном младенца, заметил профессор.
- Или пьяницы, студент поморщился, фи! и сел напротив него, под спящим.

В этот момент зазеркаленная дверь бесшумно тронулась, вплыла в пазы перегородки, и на пороге появился крупный мужчина в серой куртке.

— Та-ак! — энергично произнес и улыбнулся он. — Место восьмое? Это здесь! Приветствую, господа! Попутчиков не выбирают!

Студент вскочил с места и сел рядом с профессором.

 О-оч-ч р-ра-ад! Два плюс один — это ж трое в купе, почти в лодке! Четвертый, - он кивнул в сторону спящего, - по всему, уже в порядке. А нам еще предстоит упорядочиться, - подмигнул, щелкнул замками чемоданчика и застолбил кипу студентских бумаг графинообразной граненой бутылкой, в стеклянном застенке которой колыхнулся коричневый жидкий бриллиант, а этикетка блеснула пятью звезлами.

Угольки глаз студента заискрились:

- Такой в барах дорогих отелей наливают на три пальца по тридцать у.е. порция!
- Xa-xa! новосвалившийся на голову попутчик со звоном передвинул стаканы на середину стола, извлек из того же чемоданчика луноподобный лимон, ловким ножичком рассек на дольки, надел их на борт стаканов и откупорил граненую бутылку. Коньяк с чародейским плеском хлынул в стаканы в грифованных подстаканниках.
- Ну, будем знакомы! Я, понятно, Иван Иваныч, – поднял он свой стакан.
- Профессор... протянул назвавшийся руку за своим стаканом. – Профессор Левчук.
- С-с-студент... забыл свое имя перед лицом драгоценного напитка последний из компании.
- Просто студент? удивился Иван Иванович.
 - Ве-е-ечный, проблеял студент.
- Понятно! Ну, чокнулись! и подмигнул. А то ж мы еще не чокнутые!

Напиток пошел в горло как благодать и мягко, тепло и томно проник в кровеносную систему, в самые отдаленные тупички капилляров и лабиринты извилин. Все трое счастливо выдохнули и положили под язык по дольке лимонной луны.

Иван Иванович подхватил бутылку, чтобы налить по второй, бутылка сорвала верхний лист из кипы, тот с шуршанием упал на пол. Иван Иванович поднял и прочитал на нем:

 Записки самоубийцы, — задержал взгляд, будто своим глазам не поверил. – Бред! Не может быть записок самоубийцы!

Его попутчики переглянулись.

- Почему ж бред? закинул удочку вопроса с плохо скрываемым азартом любопытства профессор.
- А потому, разливал по второму кругу Иван Иванович, – что-о-о мертвые не пишут.
- Вот-вот, закивали профессор Левчук со студентом, – в этом-то штучка! Это и сделает книгу бестселлером!
- Тогда за ваш бес-целлер! подмигнул Иван Иванович. Снова чокнулись и причастились. — Только все равно бр-р-ред.

Коньяк подогрел воображение собутыльников.

- А вот и не б-р-ред, отшатнулся от столика профессор Левчук. – Совершенно жизненная ситуация. Челаэк, - он кивнул на студента, — покушался на самое драгоценное. А его пшик! – откачали.
- 3-з-зачем? уставился на него, затем на студента Иван Иванович. - Хотел чудак сыграть в ящик, а ему не дали!
- Правильно! Он должен жить! Левчук хлопнул студента по плечу. - И рассказать о том, что пережил, что увидел за порогом жизни. Бестселлер! Нарасхват! Он получит столько денег, что сможет жить как люди. Доучиться, жениться, ну и прочая, прочая! Достойная награда за воскресение... за преодоление смерти. Всё достигается через преодоление!

Иван Иванович улыбнулся вполрта:

- Сильно бы он ее преодолел, если б не откачали. Впрочем, хорошо сделали. Теперь можно отдать под трибунал.
- За что?! в один голос вскричали студент и профессор.

Улыбка исчезла с лица Ивана Ивановича:

- За убийство. Самое циничное из убийств. Потому что если человек поднял руку на себя, дитя своей матери, то он без колебаний подымет ее на кого угодно, на мать в том числе. Он потенциальный убийца, доказавший это на деле. Опасен для общества. За покушение на себя надо давать по обстоятельствам от восьми до пятнадцати лет, как за убийство: он-то его совершил, а жив остался благодаря подлой медицине.
- Почему же подлой? слабо возразил студент.
- Да потому, что с ним потом еще и цацкаются: мол, бедный, несчастный. А в некото-

рых, совсем безбашенных, странах этим субчикам субсидии дают, психолога назначают, и если он — профессор, туда его налево, от преподавания не отлучают! И вот такой душегуб учит молодежь уму-разуму!

Студент закрылся руками, судорожно загнав худые, растопыренные пальцы в шевелюру.

Профессор скривил мину:

- Пожалейте вы молодого человека, как вас... Иван Иваныч! Ну зачем вы так? Даже многие из великих не выдерживали мучений жизни: Маяковский, Цвейг, Камю, Фрейд, Лиля Брик, Ромен Гари, Мыкола Хвылёвый, может быть, Ван Гог!
- Чепуха! Мы ничего не потеряли бы, если бы эти неврастеники не наследили. Их барахло все можно в цистерну с каустиком, чтоб и духу не осталось!
- Жестко, жестко, простонал студент, стискивая голову, – безжалостно!
- А как иначе пресечь распространение вируса? Если ты сам приговорил себя к смерти, почему тебя должны жалеть другие? Попольски, суицид самобуйство! Ха-ха-ха! То есть кто-то сам буйно помешался, впал в бешенство и оттого перерезал себе вены. А бешеных собак, знаете ли, отстреливают!
- Я не резал! вскинулся студент, выпустил из тисков голову. Я наглотался... из-за Соломеи. Она выперла меня, вали, мол, гад, духу чтоб твоего не было! Мне футляры с бриллиантами за свидание дарят, а тебя еще накорми, напои, после того как потешишься! Тюфяк, вечный студент! И проекты твои гроша не стоят, о расширенном применении нефти! Нефть мусор! Это еще Тесла доказал! Она ж мне и скорую вызвала!...
 - Нефть вызывала?
 - Да нет, Соломка!
- Тьфу! качнул головой Иван Иванович. Вот и она сказала, чтоб духу твоего не было. Люди в бериевских, сталинских лагерях в нечеловеческих условиях выживали. А ты из-за юбки... Хотя Ромео и Джульетта продемонстрировали всю глупость самоубийства. Самоубийство влечет за собой самоубийство. Не отравилась бы Джульетта, Ромео тоже остался б жить. Детишек бы нарожали... нет же, себя и чад будущих угробили!

Верхняя полка проявила признаки жизни: содрогнулась, всхрапнула. Все повернули в ее сторону головы. Тишину разбивала только азбука Морзе колес.

- Эх, поднял бутылку Иван Иванович, встряхнул, как колоколом, и плеснул по стаканам. За детишек!
 - За каких детишек?
- Ромео и Джульетту. Бедные малютки...
 достались им родители субчики.

Профессор Левчук поспешно выпил коньяк и замотал головой:

- Жора не субчик! Он прекрасно знает польскую литературу: от Мицкевича до Милоша, историю вплоть до Дзержинского... Я преподал ему основы... Ах...
- Ну-ну, сеятель разумного, доброго, вечного. Только от добра вены не режут.
 - Он...
- Я... в один голос воскликнули профессор Левчук и студент, замолчали, обменялись взглядами и продолжили: ... не резал вены. Наглотался корвалола.
- Это ж фенобарбитал, кивнул Иван Иванович. На Западе его по рецептам отпускают, а у нас, как пломбир, бери не хочу! Полная свобода... самоубийства! Я бы и родственников к ответу притягивал за поступок самогубства: почему мер не приняли?! А виноваты, пороть!
- Волчий подход, заключил профессор Левчук.
- Волки санитары леса, выпил и стукнул стаканом по кипе бумаг Иван Иванович. Однако, крякнул и вышел из купе.

Собутыльники его зашушукали:

- Садист! Фашист! Таких стрелять надо!
- Но! профессор поднял палец. Он подкинул идей для твоих записок. Уж я постараюсь их обработать, положись на меня! С тебя, главное, имя!

Вернулся Иван Иванович:

— Бр-р-р! Кто-то заседает в сортире. Пришлось идти в соседний вагон, — снял башмаки и завалился на свою полку.

По тому же маршруту отправился профессор Левчук. Вернувшись, подтвердил:

Прочно заседает, – и тоже устроился спать.
 Как вышел студент, профессор уже не видел.

Он уже погружался в ватный послеконьячный сон. На него пахнуло свежестью; он съежился, натянул на голову простыню, затих.

С верхней полки белой тенью скользнул тот, кто всю дорогу спал, и исчез за дверью.

Он загромождал собой предбанник перед тамбуром с открытой дверью, за которой в сплошную полосу размазывался ночной пейзаж, когда студент возвращался из сортира. Повернулся к нему плечом и протянул пачку сигарет:

- Покуришь?
- Нет, что вы, вредно для легких, отшатнулся от его лица, светившего бледностью в темноте, и поежился студент, не курю.
- Как хочешь, холодно произнес тот. Со скоростью молнии схватил его за шкирку и вышвырнул в открытую дверь.



селе Кислицыно, что на Зеленой речке, жил-был Манюня; за его малый рост даже отец с матерью его помогать по хозяйству не звали: малое, что старое, — хоть пахать, хоть на прополку, а с него ни проку, ни толку.

Мал-то Манюня, мал, да на глагол удал: всё сказки баял о морях, подводных царствах, будто сам там бывал, своими глазами видывал. О лесах с диким зверем, говорящим по-человечьи, о пещерах, хранящих тайнопись, и о том, что надписи те тайные вещают, будто сам их читал. А не ровен час — и писал.

Кислицынцы слушали Манюню, головами качали:

- И откель, Манюня сам худ, а голова с пуд, ты всё это знаешь?
- От ветра-перегуда, шутил не шутил Манюня.
- Ага, стало быть, своими глазами не видал. А не видал, стало быть, сказы твои брехня. Брехун ты, Манюня-худ, хоть голова твоя и с пуд.

Говорили они это беззлобно: сами любили на вечерницах, гуляньях загады-расклады его послушать. А Манюня, как пес, не понимал, что такое обида, и заливался соло-solo-соловьем. И за что его село еще звало дурачок-скаблучок? Но до того ли тому, кто уходит в книги сказок, как моряк в дальние плавания? Много волшебных сказок придумали-не придумали баюны в разных концах земли. Все они разные, друг на друга не похожие, но в чем-то и одинаковые, будто одним закройщиком покроены или же разными, да в одну воду глядевшими. Среди тех сказок была одна, вышедная из-под пера Снежного сказочника Зим-

ней страны, сказка о Зерноделе-сказочнике и его житье-бытье в странствиях.

Чтобы писать сказки, надо слышать звон снежинок, скользящих по синеве, шум дождя, шелест листвы, волчий вой в семиструннолунную ночь. И после ах, нет, не писать, а записывать, что они назвенели, нашумели, нашелестели, провыли. А Зерноделъ оказался в доме, где слышал только стук колес карет и телег по мостовой под своими окнами, цокот конских копыт да покрикивания кучеров и извозчиков. «Ух, уж эта корыта-карета!» – хватался он за голову. Ведь всё это заглушало звуки Природы, и сказочник не ловил сказок, которые она ему посылала, чтобы он передавал их людям. Тогда он пошел на гулянья в день зимнего Солнцестояния и рассказал о своей головной боли людям. И с того дня люди стали застилать мостовую сеном, чтоб не слышно было стука колес и цокота подков по мостовой.

Сказка эта умилила и изумила Манюню: ведь отзывчивость и понимание людей - это спасение от всех бед и напастей на белом свете. Если бы люди в одночасье поняли, что правильно, а что недопустимо, это отменило бы, уволило, распылило всякое зло! Всё течет, всё изменяется, а люди остаются по-прежнему бессознательными. Всё изменяется... – и Манюня уже не был малолеткой; в двенадцать лет он вытянулся — за березкой его не видно, в четырнадцать кислицынцы увидели, что и волосы v него выросли до плеч, густые, русые, и разглядели, что глаза у него цвета погоды — серые в пасмурную, синие в солнечную, зеленые в дождливую, а к шестнадцати и шея у него стала крепкая, точно у бычка.

Ну, Манюня, теперь ты не Манюня, дурачок-не с-каблучок!
 здоровались с ним кислицынцы.
 Кто же ты такой?

А как у Манюни-не Манюни и вовсе выросли усы, он собрал свои вещи похлеще, а главное, две книги: Сказку сказок¹ и Чистую — табулу расу — и помахал рукой землякам:

- Отправляюсь я в страны Золушки, Порциэлли, Пенты, Цоцы, мамаши Граннонии², мудрецов и оливок, где люди— не вы, а отзывчивые и способные понять то, чего вы не поняли.
- Это ж где такие страны? ушам своим не верили кислицынцы.

- В просвещенной Европе!
- Ну-ну, и бегает там антилопа гну. Лови журавля в небе, поймай и нам знать дай, Ма..,
 да запнулись, ну-ну...
- Ману! обрадовался Манюня. Теперь я буду Ману! и отправился в края, про какие читывал в книжках.

Долго ли, коротко он по Европам колесил, а наколесившись, осел в тихом городке. Осёл в соседнем огороде кричал, и крик его был лучше любой успокоительной микстуры для скитальца, наскитавшегося по скитам, Ману. Местные власти выдавали сено-солому на пропитание животного. Городок этот. Садрассад, как и большинство по Европе, совсем недавно был селом на отшибе. Поселился Ману в тихой улочке-перемычке, между двух улиц. по которым шныряли автомобили. Перемычка узкая, по ней проезжали только обитатели соседних домов, а их раз-два и обчелся. Зато кричал осёл, а поскольку совершенство и покой нам только снятся в снах о прошлом и будущем, Ману решил, что сможет и здесь наслаждаться жизнью. А жизнь с озером, лесом, дорогой в поле, до которых рукой подать, была прекрасна. У Ману выпрямилась спина, мягким светом засветился взгляд, стало ровным дыханье, а голос приобрел тембр чугуна, бронзы и серебра – одним словом, он погрузился в дальнейшее заполнение страниц Чистой книги своими поюще-гудящими, причудливо-простыми, пещерно-наскальными сказками. В них в лице своего героя, у которого по ночам вырастали крылья, он переносился в заколдованное царство, которое расколдует только тот, кто освободит из цепей царевну из подвалов Дракона войны. А героя, да и к чему скрывать его имя, Вития ждали невероятные приключения, подстерегали страшные опасности в лице Зависти черной, Лжи печатной и Лукавства алчного – приспешников Дракона; Витий бросался в схватку с ними.

А пока Витий сражался, в Садрассаде прошли муниципальные выборы и вместо прежней мэрши, немолодой и ненатуральной блондин-

¹ Автор Джамбатиста Базиле.

² Герои его «Сказки сказок!».

ки, отбывавшей на посту третий срок, а по закону больше трех не полагается, избрали нового мэра, зуботехника, в пятый раз выдвинувшего свою персону на сие лакомое местечко под крылом синей куры — курочки, несущей золотые яйца.

И Ману тем временем одержал малую победу ценой великих усилий: сборник его сказок взял в печать издательский дом «Бабушкинъ сундукъ», и это было чудо, настоящее волшебное чудо, созданное руками сказочника. Ведь недаром Витий проучил в сказке Зависть, вывел на чистую воду Ложь и многажды пронзил — жаль, не сразил — шпагой Лукавство.

Новый же мэр и ночью думал о будущем, а будущее его зависело от числа голосов. Не надо быть Архимедом, чтобы посчитать, что на двух улицах живет больше народу, чем на короткой перемычке между ними. Он повернул движение на улицах в одну сторону, а на перемычке сделал его двусторонним с альтернативным, по очереди, проездом на семафор. На каждой улице по полусотне домов, в каждом — от одного до семи семейств, в тихой же улочке их всего семь, если, конечно, считать за семейство одинокого чужестранца без права голоса да старую даму — прапрабабушку города, пережившую младших сестер.

Ману снился сон, что на кончике своего пера он таскает двухсоттонные плиты, возводит из них храмы и пирамиды; плиты держатся на кончике пера, точно мячик на пальце жонглера, легко складываются в высокие стены, но он устал и заснул, уронив голову на рукопись. И приснилось ему, что пирамида, которую он возвел, вытягивается в остроконечную башню, готические оконца башни мигают красными огоньками и после трех мгновений тишины она взмывает вверх, выпустив хвост огня, со страшным взрывным грохотом. Ману просыпается — а он лежит на проезжей части, точнее, на трассе. И это, увы, уже был не сон. Разногабаритный транспорт валом валил по узкой улочке без тротуаров, улочке-ловушке звука, утроившей грохот до сходства с обстрелом из неопознанных орудий. И так от рассвета до глубокой ночи. Без выходных и праздников.

Ману вышел из строя; даже благодатная пе-

реписка с «Бабушкинымъ сундукомъ» превратилась в страстотерпство. Он собрался с духом и из последних сил отправился на прием к мэру-зуботехнику. Лучше бы в его клинику «Жемчужная улыбка». Впрочем, одну такую улыбку он увидел в мэрии. Зуботехник совсем недолго заставил его ждать в прихожей с кожаными креслами и корзиной невероятных розово-лилово-серо-голубых цветочных шаровых молний. В награду за ожидание мэр попросил секретаршу подать им кофе. Ману показал ему свою предпоследнюю книгу на одном из европейских наречий, построенных на Речи, рассказал про «Бабушкинъ сундукъ». Мэр разглядывал картинки и преувеличенно похвалил картинки, сверкнув жемчужной улыбкой.

- «Керамика, мелькнуло в голове Ману, неужели позавидовал?»
- Вот вы зарабатываете на жизнь в клинике.
 А не будь этой клиники, вы бы на горсть чечевицы не заработали, сказал Ману.
- Это как, не будь клиники? не понял зуботехник.
- Да просто. У меня отняли тишину, а она содержит все сказки мира, и я больше их не слышу. Всё заглушают машины. И днем, и ночью. Для сказочника и музыканта тишина, как для зуботехника клиника.
- Мне очень жаль, собрал мэр домиком брови. С соседних улиц меня все благодарят. Видели корзину флоксов в прихожей? Это от благодарных горожан.
 - Но я же сказочник! воскликнул Ману.
- Вы хотите сказать, понял мэр, что вы сказочник, ваши книги переживут наше время, а они кто? Сантехник, разнорабочий, вечный маменькин сыночек, официант, уборщица, домохозяйка. Хи-хи. Как я вас понимаю. Но мы живем в эпоху количества, а не качества. Хотя ваша проблема временная. Скоро планируется строительство объездной трассы, и она отменит движение через Садрассад.
- Скоро? Это когда? Через пять лет? Двадцать пять?
- H-н-ну, зависит от фондов региона. Такой разговор давно идет...
- Да-да, скептически ухмыльнулся Ману,я видел в газетах. Коррупция администра-

ции, смещение с постов... Но что же мне лелать?!

Мэр развел руками.

Что же это? Витий не высвободит царевну? Она изнемогает в тяжелых цепях темного подвала, а Дракон уже вырвался на просторы и летает по миру.

Прошла неделя без сна и отдыха — была такая пытка бдением у заплечных мастеров инквизиции. Ману собрал рукописи, пожитки, навьючил всё на багажник, попрощался с ослом — всё равно он больше не слышит его мирных криков из-за рева моторов, — сел за руль и укатил. И больше в просвещенной Европе его не видали.

А Ману вернулся в Кислицыно. Село почти вымерло, в редких окнах по вечерам зажигались огни. Тишина там была мертвая. Разве что бабочка шалила крыльями или жужжал шмель.

Там в заброшенном родительском доме Ману разложил на столе рукописи. А если вдуматься, ведь никто, если не считать «Бабушкиного сундука», ни в каких Европах ему выше оценки, чем кислицынцы, и не дал: сам худ, а голова с пуд. Ведь какого усилия, напряжения всех мускулов воли ему стоило собственное

выживание при врожденной хрупкости и неломкой сгибаемости!

Но теперь уж никто не помешает дописать Чистую книгу. Он, решено, так и назовет ее — ТАБУЛАРАСА. И Витий теперь точно выведет на свет Солнца царевну из тьмы подвала; как оно ослепит ее в первое мгновенье! А затем Витий сразит притаившегося Дракона войны самым могущественным оружием — Словом.

И с этими мыслями сказочник Ману погрузился в мягкий, словно перина, сон.

Как в воду глядел сказочник, когда думал, что пробил час пускать в ход пику пера против Дракона: тот уже свернулся в кольца за бугром на окраине села, пристроившись на ночлег; да и спал Драконище с открытым красноогненным глазом, и во сне бдящем, дабы похитить, украсть, стибрить оптимальный момент для начала драконьих дел: в пик летнего Солнцестояния, ведь оно предназначено для добродейства.

А Ману в ту ночь ничего не снилось. Он крепко спал мирным сном младенца, блаженно улыбаясь во сне. Садрассад научил его ценить живительную силу сна.

Маргарита Станиславовна СОСНИЦКАЯ

родилась в Луганской области Украинской ССР.
Окончила Литературный институт им. А.М. Горького.
Поэт, прозаик, публицист, переводчик.
Автор поэтических книг «Опиум отечества»,
«Молоко Жаръ-птицы», «Молчание Кассандры»,
а также книг прозы, в числе которых роман «София и жизнь»
(«АСТ. Астрель», 2003), разножанровые сборники «Четки фортуны»
(«АСТ. Астрель», 2008), «Записки на обочине», «Трава под снегом»,
«Книга Притч» («Советский писатель», 2002, 2004 и 2008).
Публиковалась в журналах «Слово», «Москва», «Постскриптум»,
«Наш современник», «Юность», «Дон» и многих других.
Лауреат ряда литературных конкурсов, в том числе отмечена
первой премией на Международном Лермонтовском конкурсе (2014).
Член Союза писателей России.

